

# Олег ГОРШКОВ



Олег Горшков родился в Ярославле в 1964 г. Закончил юридический факультет ЯрГУ, в котором после окончания учебы несколько лет занимался наукой и преподавательской деятельностью. Сейчас работает адвокатом. Публиковался в журналах «Новый берег», «Сетевая поэзия», «Таллинн», «Радуга», «Северная Аврора», «Родомысл» и др., в коллективных сборниках, альманахах и антологиях, выходящих в России, Украине, США, Израиле. Финалист поэтического конкурса «Заблудившийся Трамвай» им. Н. Гумилева (2004, 2008 и 2010), Международного литературного Волошинского конкурса (2009, 2011), лауреат поэтического фестиваля, проводившегося в рамках 67-го Всемирного конгресса международного ПЭН-клуба (2000), ряда других всероссийских и международных конкурсов. Редактор сетевого литературно-поэтического журнала «Поэзия.ру».

Автор трех книг стихотворений — «Антивременья существования» (2000), «Размытая архитектура» (2002), «Глагол одиночества» (2007).

## «Приходит время медленнее жить»

\* \* \*

Ты умер, едва проснувшись, чуть свет, внезапно.  
С улицы пахло яблоком, стружкой, снегом.  
И кто-то, никем оказавшийся, ставший неким  
пробелом, лакуной, вбирая щемящий запах,  
лежал посредине зимы, посреди обломков  
религий, империй, времен, кораблей и прочих

скрипучих безделиц. И гулкий глагол, обмолвка,  
неведомо чья, претворяли и беглый почерк,  
и почву зимы, воцарившейся в мире. «Умер» —  
гремели столетья, а ты все лежал, покоясь  
на утлой кушетке, чуть свесив коленки в космос  
прокуренной комнаты — гамлет, вернее, гумберт,  
профукавший девочку-жизнь. Глубоко и сладко  
дышалось тебе спелым яблоком, снегом, стружкой,  
вернее, кому-то, избывшему без остатка  
себя самого. И сестрой, сиротой, простушкой  
стремглав обернувшись, с ним девочка в такт дышала  
и все бормотала, целуя глаза и губы:  
мой гамлет беспамятный, мой бестолковый гумберт,  
не помнишь меня? Что же, попробуем все сначала —  
от яблока, что едва качнулось назад, на запад,  
от вязкой зимы, от купели прозрачной, ранней.  
Ты умер сегодня, чуть свет занялся, внезапно.  
Ты только рождаешься, ты еще там, за гранью...

## Град обреченный

Заснеженный пейзаж глубок и чист —  
зима дисциплинирует природу.  
Ни звука. С колченогой каланчи,  
превозмогая утреннюю одурь,  
продрогший ворон, словно в тьму времен,  
куда-то в небо целит цепким оком —  
лаокоон, застывший над потоком  
событий, что во тьме почуял он?

И город, в струнку вытянувшись весь,  
стоит — сосредоточенный и строгий,  
как будто ждет решительную весть.  
Он помнит все — мясистый запах оргий,  
вкус ветреной свободы, зычный зов  
слепого естества, имперский почерк  
страстей, чудачеств, помыслов и прочих  
своих безумств. Но чашами весов  
играет необузданный борей,  
и зябнут покачнувшиеся сферы  
в пугающе пустынном декабре  
оглохшего столетья стылой эры.

И помнит город все, что кралось вслед  
неистово пирующей гордыне —

цветение удушливой полыни  
и ужас пустоты, объявшей свет,  
проникшей в камни цирков и церквей,  
содравшей лак с их лика щегольского,  
поправшей то, чем родствен иудей  
был эллину — связующее слово.

Плывут воспоминанья, их не счесть,  
но окликает колокол, зашедшись,  
юродивых своих и сумасшедших,  
и сумерки тесней, и ближе весть...

\* \* \*

Век оглоушен пьяненькой, площадной  
совестью толп, дурью торжища век пронизан.  
Кто там над звездами скрипачкою-тщетою  
пилит неистово? Претерпеванье жизни —  
через усталость, сквозь лед занемевших мин —  
в лицах читается, и ни черта помимо.  
Срок свой земной мотая в тоске голимой,  
как заведенный бормочешь: аминь, аминь.  
Будто обещано: так обретешь покой,  
сможешь постичь начальное в человеке.  
Чуешь, как воздух, запертый в костяной  
матрице плоти, ютится в своей ячейке?  
Сколько же в этом, набитом всегда битком,  
клеточном улье, в бесчисленных ломких сотах  
спрятано воздуха, слышишь, как там, в пустотах,  
колокол бредит? Вот и скажи, по ком?  
И говоришь, будто страх выдыхаешь, но  
голос разбуженный слышится еле-еле  
в сумрачной чаще, где даже дышать темно,  
где, как столбы геракловы — ели, ели...

## Старьевщик Ефам

Вспомни, какой мой век: на какую суету  
сотворил Ты всех сынов человеческих?

*Пс. 88, 48.*

Живет себе человек, и чем дальше — проще,  
все проще и глубже глядит человек на вещи,  
старьевщик Ефам на судьбу никогда не ропщет,

он скуп на слова, отрешен и совсем не сведущ  
в курсах на рынке правд, но зато он дока  
в ценах на время, что, еле дыша, ютится  
в утлых часах, и на свет, погруженный в стекла  
масляных ламп и в проваленные глазницы  
гипсовых римских голов. В запыленной лавке  
латаных древностей, словно в ковчеге Ноя —  
всяческой твари по паре — брелки, булавки,  
маски, картины, куклы с их заводною  
шаткой походкой — весь тлеющий мир, который  
непостижим и разрознен, текуч и зыбок...

В датских и прочих отечествах бедный Йорик,  
Йорик живей всех живых, как и прежде, ибо  
все возвращается в прах, обращаясь снова  
тайной, симметрией, почвой, пылью, дыханьем  
блудного ветра — всей сутью своей, основой  
коловращения вещей... Бог с тобой, лехаим,  
старый еврей, пусть тебя берегут глазастый  
бронзовый Ра и фарфоровый сонный Будда,  
ты по утрам говоришь им негромко: здравствуй,  
слышишь, они отвечают тебе: все будет,  
как и должно быть... Ты чувствуешь? — здесь подспудно  
вещи вмещают мир, словно мехи вина,  
вещи — вместилища, вер и времен сосуды,  
и только жизнь необъятна и неизбывна...

## Буратиновый фронт

Этот воздух сквозной, эти дали усеяны светом.  
Несть числа именам демиурга, который один  
пишет жизнь. Ну, а мы — лишь труха, уносимая ветром.  
Видишь, некий творец, сам себе на уме господин  
карабас-барабас, сочинитель державных комедий,  
ставит свеженький фарс, строя бравых болванов своих  
в буратиновый фронт. И грохочет кимвальною медью  
удалой балаган. Свищут, ноздри раздув, соловьи —  
записные разбойнички — чуют, засранцы, добычу.  
Деревянные цуцики радостно прут на рожон —  
вот уж будет пир и чума на весь мир, как обычно.  
Впрочем, что до ужю, то державы давно уже в жо...

Вот и строишь ковчег — сам в себе — безрассудно, упрямо —  
изнутри его строишь, застигнутый смертным стыдом,  
чудом черпая речь, выбираясь по слову из ямы

безъязыкой тоски. Вот и ладишь свой призрачный дом.  
Ну, пускай не ковчег — что-то вроде укромной каморки,  
где за старым холстом только грубая толща стены.  
А за ней — только холод, лишь холод собачий, как в морге.  
И гремит балаган, и кимвалы повсюду слышны.

## Поколенья шутов

*Геннадью Ермошину*

Сам по себе живешь, но ты из поколенья  
трагических шутов, дышавших невпопад  
с эпохой. Все торчит колпак закабаленья  
на темени твоём, все просятся в приват  
подсобок, чердаков и коммунальных кухонь  
насущенные слова, как будто бы вот-вот  
очнется ото сна могущественный Ктулху  
и всех, кто в колпаках, под свой колпак возьмет.

Но будешь и тогда, дурак непоправимый,  
жить с миром вразнобой, бубенчиком бренча,  
пока в литавры бьют во славу и во имя  
усердные рабы, плодящие рабчат.  
Но будешь и тогда... Глагол, как пуля, послан  
во тьму, и оживет зияющая тьма,  
сквозящей пустотой в лицо дыша, а после  
в разбуженных глазах развернется зима.

Что век твой? — зверь тщеты, тоска о невозможном,  
но как ни разрослись полынь и лебеда,  
спасибо всем табу, границам и таможням  
за сладостную суть запретного плода,  
за жалость к мертвецу, что был живых живее,  
и ненависть к нему, за ярость и за стыд.  
Еще от всех шутов, конечно, Москвошвею  
особенный респект за клоунский прикид.

Скудна твоя лоза, почти все гроздь страха  
и гнева ты собрал, но послевкусье длишь.  
И все ж, хвала и честь собесу и госстраху  
за их науку жить и полагаться лишь  
на Бога и себя, за то, что хватит духу  
на ярмарке тщеты быть голью шепутной.  
Так будь благословен и ты, проклятый Ктулху,  
за общий хула-хуп и жажду быть собой.

Чем явственней зима, тем проще улыбаться,  
заглядывая в тьму, чьи дебри глубоки.  
Вовсю идет призыв поэтов и паяцев  
под зов нездешних труб в бессрочные полки.  
Повсюду снег да снег, его здесь по колено,  
и кем-то стерта грань меж небом и землей.  
И белой пылью прочь уносит поколение  
тех, чьи глаза полны покоем и зимой.

## Нейронная живопись

*Beata stultica*

Все, что ты видишь: дрогнувший блик в листве,  
молниеносный росчерк вспорхнувшей птицы —  
все это канувший мир, разоренный свет,  
нейронная живопись мозга. И не схватиться  
за воздух, сквозящий сквозь пальцы, не вжиться в явь,  
в простор, что мерещится там, в голове-обскуре,  
набитой латынью и прочей ученой дурью.  
На ощупь живешь, будто что-то в себе разъяв —  
какую-то гамму, чуть брезжущий в ней намек,  
какое-то слово, сверкнувшую в нем загадку.  
Ты весь воплощен во внутренний монолог,  
в пустынную речь, уместившую мир без остатка —  
с его шутовством и блаженством, тоской, тщетой,  
ничтожностью царств, безрассудством мессий и судей,  
заиливших Лету. Но ты ведь и сам, по сути,  
лишь росчерк по воздуху, дрогнувший блик, лишь то,  
что явью причудилось. Это пройдет, пройдет.  
Ты знаешь всю правду, ты помнишь, но все же, все же  
как стыд нестерпим, как бугорчат в лопатках лед,  
как дышится жадно сквозь каждую пору кожи.

\* \* \*

Здесь праздник все же был, но вышел вон  
не признанный никем — мир то и дело  
бряцал в кимвалы с верой оголтелой,  
и самозванцев чествовал... а он,  
не требуя ни власти, ни хвалы,  
присаживался в сквере на скамейку  
к чудным волхвам в ушанках из цигейки,  
но, будучи с похмелья, и волхвы

его не признавали. Наугад  
он дальше брел, он обращался снегом  
и воздухом, насвистывал на беглом  
синичьем языке, пока ягнят  
своих молчащих, свой елейный хлеб  
мир пожирал под медный гул кимвала,  
и утро все никак не наставало,  
и тьма ползла в пустующий вертеп.

За вещностью, за тонкой пленкой сфер,  
в тех ойкуменах, что за гранью зренья,  
мешая запах снега и сирени,  
все ворожил усталый парфюмер  
над колбами времен, но, видно, дух,  
им сотворенный, выветрился где-то —  
ни тишины, ни праздника, ни света,  
одни слова, что вновь бормочешь вслух.  
Но здесь, в столпотворенье голосов,  
не вспомнит даже колокол набатный  
все без вести пропавшие когда-то  
потешные полки озябших слов...  
А тьма ползла, и так из века в век...  
Но ветер треплет белые страницы,  
и спящему младенцу в яслях снится  
снег, пахнувший сиренью, тихий снег...

## Ойкумена онлайн

Ойкумена онлайн. Самых грязных котов из мешков  
извлекают на свет просветители Яндекс и Гугл.  
Се — cloaca maxima, лишь чокнутый книжник Мошков,  
оцифровщик словесности, загнанный временем в угол,  
все упорствует в ереси — что за причуда, на кой?  
Поколенью клоаки накакать на библиотеки,  
ибо библия — Твиттер, и мутною желтой рекой  
громыхает контент — ныне, присно, на вечные веки.  
Толчея голосов, языков нескончаемый чес,  
вот и ты как бы жжешь, человечек, исчадие чата,  
и откликнется кто-то, почуяв живое: рулез! —  
тоже что-то из библии. Солнечный зайчик в сетчатке  
вечереющих глаз затрепещет, но спрячется вмиг.  
Словно саваном, речь спеленали рогожей жаргона.  
И не нужно костров, ойкумене теперь не до книг.  
Никакою трубой стены этого Иерихона  
не разрушить уже. За окном ослепительный снег —

ойкумена-3Д имитирует зиму на свете.  
Есть ли жизнь после сети? — бормочет в тоске человек,  
снова ищет ответ и, как прежде, не может ответить.

## vremechko.net

Затрапезная осень, промозглая тмутаракань —  
лишь роптанье ветров да простуженный лай кабысдохов  
тормошат тишину, и выходишь куда-то за грань  
оголтелой эпохи. А, впрочем, причем тут эпоха  
гуттаперчевых цезарей, спешно доящих свой рим,  
и румяных мессий, расторопно торгующих словом?  
Время — жадный сурок, что грызет и грызет изнутри  
листья жизни твоей, убывающей так бестолково.  
Время — нечто в тебе, а не что-то и где-то еще,  
одурачишь сурка, и мгновенье все длится и длится.  
Даже сумрачный хронос, дотошно ведущий свой счет,  
не исчислит его... И летит уже белой латиницей  
нескончаемый снег, летописец и вестник зимы,  
заполняя собой пустоту между горним и дольным,  
между словом и словом. Из толщи небесной, из тьмы  
снег свободно летит и, едва прикоснувшись к ладоням,  
истлевает за миг, и ты чуешь, безбожник, по ком  
сельский колокол бьет, расщепляя в тоске безрассудной  
это vremechko.net и его pokolenie.com  
на отдельные судьбы.

## Алхимик Йорк

Алхимик Йорк, помешивая тьму  
сгустившихся окрест тысячелетий,  
в их толщу манит. Что за шут ему  
теперь судья, какие нынче сплетни  
о нем захлеб горланит воронье? —  
не разберешь. Но небо над собором  
как будто пошатнулось. Все — вранье,  
усмешки Дагонета, по которым  
воображенье чертит времена,  
блуждая в наплывающем далеко.  
Все глуше, глуше гул веретена,  
прядущего тщеты кромешной кокон.  
Щебечет город — птица и манок.

И, кажется, у века на задворках  
все длится красно-белое кино  
про чокнутых ланкастеров и йорков,  
про их солдат, церковников, ткачей  
и прочих малых, что за пинтой эля  
бранят и славят каменный ковчег,  
несомый в бездну. Без году неделя  
от сотворенья мира — тот же свет,  
что был в начале, те же в Узе воды  
бубнят свое склонившейся листве,  
на нитке площадного кукловода  
все тот же красный чертик, лицедей,  
усердствует — где тонко, там и рвется.  
И, строя рожи, лезут из людей  
наружу обезьяны сумасбродства.  
Мир будто замирает. До краев  
котел времен мгновеньем полон этим,  
и ребяшня гоняет воробьев  
по площадям, дворам, тысячелетьям...

## Мене, мене, текел, упарсин

Приходит время медленнее жить.  
Преследуемый собственной тенью,  
вновь сознаешь, что жизнь принадлежит  
свихнувшемуся богу нетерпенья.  
Не то с чего б так яростно частить  
колоколам к заутрене, с чего бы  
такая разоряющая прыть  
у мытаря-боря? Смотрит в оба  
неясыть-осень, только оступись —  
подхватит, понесет с листвою и дымом  
в кромешную беспамятную высь  
с ожесточеньем неисповедимым.  
Борей все сыплет зябких голосов  
толченное стекло, но ты не слышишь,  
и свет качнется, будто свет, как софт,  
скачать возможно, кликнув небо мышью  
слепой тоски, как будто можно впрок  
налюбоваться хрупким этим светом,  
все выговорить в смуте беглых строк,  
напраздноваться, надышаться ветром,  
взять если не уменьем, так числом  
проб и ошибок, чтобы, пусть отчасти,  
пусть лишь на миг, почувствовать потом,  
как нестерпимо призрачное счастье.

Вот и несет кочевника поток —  
непоправимо, властно, неустанно,  
и снова ускользает между строк,  
в тщете словес глагол обетованный,  
безмолвно гаснет в пене голосов,  
в пустыне Мегафона и Билайна,  
и чудище вращает колесо —  
стозевно, обло, голодно и лайяй.  
Приходит время... что ж ты от него  
все прячешься, цепляешься за вещи,  
которым имя — пища жерновов,  
из полымя да в пламя перебежчик?  
Зачем бежишь?.. Но, сколько ни проси,  
как ни пытай скитальца, нет ответа,  
лишь «мене, мене, текел, упарсин» —  
колокола грохочут несусветно...